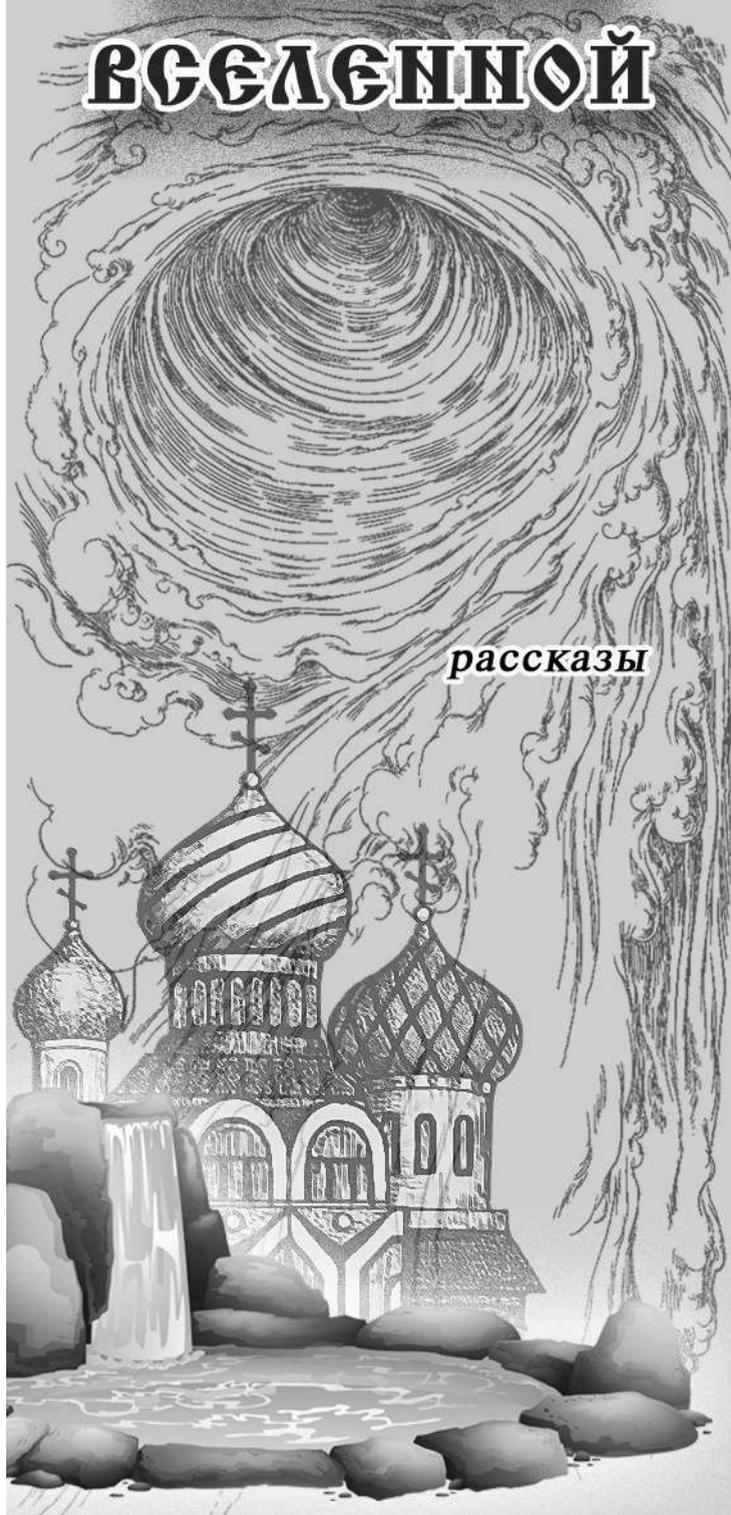


Виталий БОГОМОЛОВ

г. Пермь

ПЫЛИНКИ ВСЕЛЕННОЙ

рассказы



ЧЕЛОВЕК – ЛИШНИЙ

Славка Чижов – в далёком прошлом деревенский житель, в восьмидесятых прошедший Афган, повидавший жизнь, повидавший смерть – теперь работал на заводе. Сухой, поджарый, жилистый мужчина среднего роста, имел он семью: двух уже взрослых детей, жену – не красавицу, но добрую и заботливую, такую же сухошавую, как сам. А в цехе все звали его, как пацана, Славкой. Это в пятьдесят-то два года! Человеком он был скромным, хотя в бригаде уважаемым: знали, что за Афган у него орден. Но так вот сложилось и прилипло: Славка, и всё.

Уже несколько лет подряд на выходные (и зимой, и летом) Славка обязательно уезжал из шумного города на дачу. Жена к даче пока не очень тянулась, особенно как подросли дети, а Славка в свободные от работы дни не мог оставаться в прокопченном и загазованном, в ревушем моторами миллионном городе. Прихватив потёртый рюкзачок с продуктами, он утречком в субботу садился в автобус, проезжал шесть остановок и ещё километр с небольшим хвостиком шёл к железнодорожной площадке, дорога к которой от городской окраины, от кооперативных гаражей спускалась по Кривому логу. Обочины дороги, склоны огромного тенистого лога, заросшие кустами и деревьями, и крохотная речушка на дне его были завалены строительным мусором, изношенными автопокрышками, изуродованными бамперами автомашин, особенно стеклянными и пластиковыми бутылками, ну и прочей разной дрянью – дело рук подлых, по определению Славки, людей. Отходы, как говорят, жизнедеятельности цивилизованного человека. Ну, такие вот следы оставляет он, шагая по этой самой жизни.

За все годы по дороге с дачи Славка ни разу не выбросил не то что банки, бутылки или пакета с мусором, но даже билета на проезд в транспорте. Всё вёз до города, до мусорных

баков, и всегда больно переживал, видя порой, как из багажника остановившейся роскошной машины летел в кювет мешок мусора.

На выходе Кривого лога к железной дороге речушка ныряла в зарешёченную бетонную трубу под железнодорожное полотно. Метрах в шести-семи от него вдоль посадочной площадки был проложен бетонный лоток шириной в четверть метра для отвода в ту же трубу дождевых и талых вод. А ещё метров через пять от лотка вздымался высокий и крутой склон, который на десятки километров тянулся вдоль Камы, то ближе к ней, то дальше. Под ним и проходила железная дорога, к которой приводил Славку Кривой лог, собственно, рассекая этот склон.

Как раз возле посадочной площадки из склона сочился родничок, струйка его, в которую он собирался, сбегала к лотку и, найдя в стыке проход в человеческий палец шириной, радостно булькала здесь светлой прозрачной водицей.

В этом месте Славку Чижова всегда охватывало отрадное состояние, особенно в начале лета, когда в логу, по которому он приходил к площадке, пели соловьи. А в мае по склонам белым-бело цвела и благоухала черёмуха.

Образование Славки укладывалось в рамки профессионально-технического училища — оператор станка с числовым программным управлением. Но, как ни странно для нашего безумно-суматошного времени, он любил на даче читать книжки: и прозу, и стихи, и разную интересную публицистику. Чтение давало ему богатый материал для размышлений о своей жизни. Некоторые стихи он даже запоминал. Однажды вычитал у местного поэта такие строчки:

*Сочится под землёй
таинственная влага,
Чтоб выпасть ручейком
живым на дне оврага.
Не так ли в сердце
копятся слова,
Что в тексте выдаёт
нам голова?..*

Опустив книжку на колени, Славка задумался, представил родничок возле посадочной площадки и сказал: «Это про него!» Про родничок, значит.

Приходя к электричке, Славка всегда умывал лицо холодной водой из родника, чувствуя после этого, как обсыхала кожа на лице, подтягивалась, будто молодела. Пить эту воду он, правда, остерегался: хотя она и была хрустально чиста, но всё-таки родник выбивался из склона, на котором раскинулся город с его разными зловещими пакостями. И всё равно одним видом родник вливал в душу всегда радость.

Одно угнетало чувствительного Славку: нередко и возле родника валялись пустые бутылки, пивные банки, пакеты, разный мусор. В такие минуты на Славку нападала тоска. Порой невольно вспоминались Афганистан, потерянные друзья, тяжёлое ранение за месяц до дембеля; чудом выжил тогда, чу-удом... Вода в Афгане, к слову сказать, ценилась как святыня.

В тот раз, выдвигаясь большой группой на боевое задание, — в засаду против каравана, везущего оружие, — они сами нарвались на засаду. Неизвестно, что там произошло, только ждали их душманы и к встрече хорошо подготовились. Впоследствии, вспоминая тот страшный бой под перекрёстным огнём на уничтожение, безысходные крики раненых, кровь, изорванные пулями, распластанные взрывами мёртвые тела товарищей, изуродованные, обезображенные, неотвратимое присутствие смерти (его хлестануло незадолго, видимо, до конца бойни), Славка понял, постепенно со временем осознал, что из того боя вынес веру в Бога, а через неё открыл в себе способность радоваться жизни и всему существу. Именно это не дало ему после сломаться, спиться, как другим.

В вертушку тогда его закинули, посчитав мёртвым, но при выгрузке на базе жизнь, ещё не расставшаяся с его телом, видимо, подала какие-то свои сигналы-признаки. Наверно, ангел-хранитель кружился над ним по материнскому благословию, по её мо-

литвам... Она после рассказывала, как, сердцем почуяв беду, металась и плакала в тот день, не находя места. И молилась, молилась... Хирурги долго копались в Славкином развороченном животе, вырезая, соединяя и сшивая, но спасли.

Каждый раз, шагая от железной дороги уже по тишине полем до своей дачи, в любое время года он испытывал восторг, который не мог бы высказать многими словами. Тот восторг укладывался для него в одно простое точное и всеохватное слово «благодать». В такие моменты ему часто думалось о беспредельности Вселенной, о тех не поддающихся воображению миллиардах лет, которые можно лететь со скоростью света — триста тысяч километров в одну секунду. И за эти миллиарды лет (это сколько же в них секунд?!) преодолеть всего лишь малую часть Вселенной. Дух захватывало.

И Славка радовался нежной и таинственной голубизне земного неба, облакам причудливой формы, пылающим закатам, птицам, траве росистой, сверкающей на утреннем солнце самоцветными бриллиантами, плеску широкой реки, волнуемой ветром, и даже дождю, снегу. За городом, на природе, в тишине и одиночестве, он ощущал себя неотделимой частицей всего этого, и его благоговейный восторг был сродни молитве Творцу за всю эту благодать. За чудное единство всего. Благодать, разрушить которую, считал он с несокрушимой своей упёртостью, мог только человек.

Здесь Славке было хорошо, легко. В душу не набивались никакие меркантильные проблемы. Он ясно осознавал свою малость в бесконечности Вселенной, особенно когда ночью долго смотрел на звёзды. Славка понимал, что для счастья нужно вовсе не завоевание мира, не обладание всеми его богатствами, а здоровье, достаточная для этого пища и вода, необходимая одежда. Радость, счастье — вот они вокруг. Наслаждайся. И вовсе нет нужды за ними гоняться в тридцатое царство. Главное, чувствовать себя человеком. Че-ло-ве-ком!

*Настанет час —
всё потеряет смысл.
И содрогнётся
душенька в печали,
И будет слишком
запоздалой мысль,
Что жизнь не та
осталась за плечами.*

И эти строчки он вычитал у того же поэта. Сказано точно. Должно быть, прочувствованно, продуманно. Они потому и вспомнились сейчас, что были созвучны его собственному состоянию. Значит, жить надо так, чтобы за плечами осталась жизнь «та», за которую не больно, не стыдно.

На материальные блага Славка смотрел как на пшик, понимал, исходя из своих убеждений, что человек должен трудиться, добывать необходимое, но не «собирать сокровищ на земле», не накопительствовать бездумно. У него самого не было даже машины, хотя мог скопить на неё при неплохих своих заработках. Всё отдавал жене, детям, церкви; сколько-то, конечно, уходило на дачу. Сам же довольствовался необходимым. Ну что взять с него — «блаженного»?..

Он и на даче, и вне дачи часто размышлял о величии, гармоничности, сложности, разумности окружающего мира, и опять же — о беспредельности Вселенной. О совершенно ничтожной малости человека, который в этом величии, по сути-то, такой же невидимый атом, из каковых сам состоит. Но при этом возомнил вот себя владыкой природы. А ведь глянь из глубины Вселенной, за эти миллиарды световых лет на человека — где он и что он?! Так удастся ли найти «царя природы». Если бы Славка стал о своих размышлениях говорить людям, его бы осмеяли. Философ с пэтэушным «потолком»! Действительно, сочли бы блаженным.

Некоторые знакомые и без того посмеивались над его верой, аскетизмом, но Славка к их насмешкам относился с молчаливой усмешкой. Ибо знал он: вот начнется хоть самая обычная гроза с молниями, громом, сотрясение земли — и того будет достаточно, чтобы с

насмешника слетела вся его спесь. А вот когда вокруг тебя мины рвутся, метя попасть осколком в тело, — тут и безбожник начинает бормотать-лепетать: «Спаси, Господи!..»

Славке казалось, детей его интересовали в жизни только удовольствия и наслаждения, и они готовы воспринимать мир только как отражение голливудского кино. Дети мечтали разбогатеть и стать известными, ничего не делая для этого, иметь особняк и престижную машину. Они любили хорошо поесть, выпить, потусоваться в молодёжном кафе, выехать на природу на шашлыки. Вели длинные и, по мнению Славки, пустые разговоры. Получив высшее образование, его дети не нашли себя в работе, они считались менеджерами и отсиживали положенное время в нелюбимых офисах. Славка с болью видел, что они отравлены цинизмом, не любят родину, говорят о ней с презрением и уверены, что здесь ничего не достигнуть. И сам Славка понимал, что изменить что-то в них уже невозможно: мир изменился, а дети жить хотели только в этом изменившемся мире. Их абсолютно не интересовало, к лучшему эти изменения или к худшему. Главное, им хорошо сейчас, этого достаточно. Ну вот такое поколение.

А Славка в изменившемся мире для себя места не находил. Да, смирился с ним, работал, получал зарплату, но жил в своём мире, который для него начинался с железнодорожной площадки возле Кривого лога. Его мир был устремлён в миллиарды световых лет, в беспредельность Вселенной... Конечно, он не был уверен в своей правоте на сто процентов и постоянно сомневался.

Однажды, придя утром на железнодорожную площадку, Славка обнаружил огромный сук дикой яблони, стоящей на склоне выше родника. Видимо, ради чьей-то потехи сук зверски был отодран от ствола и брошен прямо на струйку родника. При виде каждого спиленного в городе дерева Славка страдал душой. Вот и сейчас ему больно было видеть ободранную яблоньку. Ну кому она помешала?..

Обломанную ветвь с завязями плодов Славка оттащил в сторону, под кусты ивняка, который рос понизу. Несколько человек, ожидаю-

щих электричку, безучастно наблюдали за его действиями. Он не обращал на них внимания. Ему сейчас пришла в голову мысль: а что, если родник этот облагородить? И Славка мгновенно увидел в своём воображении картинку: от бетонного лотка — деревянный трапик метра три длиной, чтоб по нему подходить к трубе, из которой родниковая вода будет вытекать. Трубу — достаточно и метровой длины — можно вкопать и закрепить в то место, из которого родничок выбивается из-под земли. Труба будет пластиковой, металл бомжи тут же выдерут и сдадут, а пластик, может, и не тронут. Что ещё? Возле трубы — доска-мосточек поперёк ручейка. А справа можно бы и скамеечку даже соорудить, чтоб сумку поставить или пакет положить тому, кто к роднику подойдёт руки помыть, лицо освежить... И всё, полный ажур!

С этого дня Славка, спускаясь по дороге вдоль Кривого лога, стал попутно присматривать на стихийных свалках среди вывезенных строительных отходов подходящие дощечки, бруски, подбирал их и припрятывал в одном укромном месте в зарослях. Однажды, когда Славка счёл, что материалов скопилось достаточное количество, он приехал сюда с дачи под вечер с лопатой, топором, ножовкой, гвоздями, обрезком толстой пластиковой трубы... За час с небольшим воплотил свой замысел в реальность. Сделал и скамеечку: забил четыре колышка, на них положил горизонтально и приколотил доску. Постоял, полюбовался своей работой, послушал падающую из трубы звонко запевшую струйку родника, в груди появилось тёплое спокойное, не хвастливое удовлетворение от сделанного доброго дела. Приятно было. Это естественно, как движение сока по стеблю травинки. Даже к месту стихотворение вспомнилось, которое когда-то учили в начальной школе, про старика, который на исходе лета посадил у полевой дороги на память вишню без сожаления о том, вспомнят о нём или не вспомнят. Всё равно он вишню посадил. Для людей посадил. Чтоб отдышали в тени, когда вырастет большая-пребольшая. Он для души поступок сделал. Для самоуважения.

В следующие выходные, придя утром на электричку, Славка не мог поверить своим глазам! Его чуть кондрашка нехватила, застучало-затукало в затылке и в висках: скамеечка возле родника была разломана, от его трубы и следа не осталось, дощечки трапика были размётаны по сторонам, часть совсем исчезла.

У него сжалось сердце, да так, что даже слёзы выкатились из глаз. Это как если бы хирурги сделали человеку операцию, спасая ему жизнь, а ночью в палате кто-то из хулиганских побуждений разорвал бы швы.

— Эх, люди, люди, — только и смог он выдохнуть с горькой обидой, покачивая головой. И подумал: «Ну как вас после этого мне любить?.. Как?»

Больно Славке было за человека. Тонко чувствуя гармонию природного мира, где всё в ладу, он теперь ещё отчётливее ощущал, что из всех тварей этого мира один человек — лишний, потому что всё зло и разрушение всемирного лада исходит исключительно от человека. И подумалось Славке тоскливо, что если человек, эта ничтожная пылинка, не изменится, то с такой тварью конец этого мира, должно быть, не очень-то и далёк.

До самого прихода электрички он всё смотрел и смотрел в скорбной растерянности на разгромленный исколеченный родничок.

В электропоезде под стук колёс, в бессильном негодовании перекачивая желваки, он вдруг решил упрямо: «А вот всё равно я обустрою родник! Посмотрим, кто кого... Надо же как-то сопротивляться разрушению мира!»

НОЧНАЯ ПАЛОМНИЦА

На песчаном берегу реки, на пляжном месте, горел костёр. Вокруг сидела компания поселковой молодёжи — все старше двадцати лет.

Был тихий ясный вечер августа. В закатной стороне ещё не угасла полоска зари, но на землю уже опустились сумерки.

По соседству находился монастырский комплекс, обнесённый грубой временной оградой. Он ещё строился, но уже стоял храм, проходили службы, хотя отделочным работам не видно было конца. Возводились и другие постройки, необходимые мужскому монастырю.

На противоположном берегу широкой реки раскинулся огромный город, в нём кипела, клокотала жизнь. А здесь, у костра, молодёжь распивала водку, шёл шумный разговор. Вспомнили, что на том месте, где построили церковь, стояла прежде пивнуха. Железная, круглая, выкрашенная в тёмно-синий цвет, метко прозванная в народе «шайбой». И жизнь этой забегаловки была такая, что... Короче, поганое место, скверное, не подходящее для храма.

— Там земля на метр в глубину вся мочой и матом пропитана, — брезгливо поморщилась высокая разбитная Вера.

— Ну, это им не помеха строить хоромы, — съязвила Светка.

— Против власти не попрёшь, — заметил Лёха, — если им землю здесь выделили...

— А-а, наши поселковые сюда в церковь не ходят. Тут же все знают, на каком месте она построена, — добавил Егор, махнув равнодушно рукой.

— Зато из города сколько прётся народу в выходные дни!.. — подметила Наташка.

— Так они-то не знают ничего... Везут монахам доход, — хохотнула Светка, обсасывая хвост вяленого леща.

Ниже по течению реки берега соединял километровый мост, и посёлок входил в городскую черту.

— Вообще-то, церковь должна быть открыта круглые сутки, чтоб я в любое время могла туда прийти, — заявила Наташка. — Мне вот раз и захотелось ночью

помолиться, а там, как в нашем магазине, часы работы от и до.

— Так молись, кто тебе не даёт, — предложил с усмешкой Лёха. Он оставался трезвее всех.

— А мне надо в це-еркви! — настаивала Наташка.

— Что, из-за тебя одной там кто-то должен сидеть да ждать тебя?

— Да! И сидеть, и ждать, раз это церковь! Я вот сейчас пойду и потребую, чтоб мне открыли церковь. Помолиться хочу.

— Кто тебе такой поддатой откроет? — снова усмехнулся Лёха.

— А я им там устрою тогда! — пригрозила с апломбом Наташка.

Она решительно встала с доски, приспособленной под скамейку, и, виляя фигуристыми бёдрами, двинулась к воротам монастырской ограды.

Разговор оборвался. Все с любопытством смотрели ей вслед. Они были далеки от духовной жизни, которая в обществе после семидесятилетнего перерыва только-только начинала пускать корешки. Молодые ничего в ней не понимали, имели свои самые верхушечные представления, но о церкви, монахах и монастырской жизни судили с присущей возрасту категоричностью.

Наташка дошла до решётчатых ворот, сваренных из прутьев. Конечно, они на ночь были заперты изнутри. Она принялась стучать, железо загрохотало в тишине как-то устрашающе грозно. Это ничуть не смутило её. Через короткое время из сторожки вышел человек и широкими скорыми шагами приблизился к воротам.

В представлении Наташки это был огромный мужик, в шапке, с большой бородой, казавшейся во тьме чёрной.

— Что вам нужно? — спросил послушник спокойным тоном.

— Мне надо в церковь! — заявила раздельно и настойчиво Наташка.

— Церковь уже закрыта, — ответил послушник с простодушным удивлением, которое исходило, видимо, от недоумения, что в столь очевидно позднее время, в будний день, среди недели человек с такой решительностью заяв-

ляет, что ему надо в церковь. — Приходите утром, — предложил он.

— Мне надо сейчас! — неуступчиво повторила она.

— Сейчас нельзя. Всё закрыто, служба давно кончилась. Священник отдыхает.

— Нет, пустите! Мне надо! — требовала Наташка.

— Да зачем?

— Надо, и всё, — вызывающе проговорила она.

— Приходите завтра утром. Милости просим.

— Завтра к вам придут восемьдесят человек и будут молиться с постными... — она хотела сказать «мордами», но на ходу поправилась: — лицами. А мне надо сейчас. Душа просит, и всё.

— Храм закрыт, ключи у священника. Я не могу вам ничем помочь, неурочный час.

Непреклонность послушника только подливала масла в огонь.

— Позови священника! — потребовала Наташка, дёргая вновь загрохотавшую в тишине калитку.

— Как я потревожу его? — смущённо проговорил великан, придерживая калитку, чтобы пригасить её грохот. — Он весь день был в трудах, и в богослужбных, и в строительных. Теперь отдыхает. Он пожилой человек, ему рано вставать... Не надо его беспокоить.

— Позови священника, и всё! — вновь категорично потребовала Наташка.

— Хорошо, — с огорчением пообещал послушник, — только, прошу, не стучите, пожалуйста, так дерзновенно, — и нехотя побрёл в жилое здание.

Прошло минут десять. За это время решительность в Наташке начала остывать, девушка оробела, ступевалась. Невольно оглянулась — костёр ещё горел, высвечивая силуэты сидящих вокруг него. Наверняка и они сейчас видели её силуэт возле ворот — всего-то семьдесят-восемьдесят шагов до них. Может, даже потешались злорадно над её поступком.

Наконец слабо стукнула дверь. Вышли двое: сторож и за ним негромко покашливающий невысокий человек. У ворот послушник посторонился.

– Что вы хотели? – спросил усталый старческий голос второго пришедшего.

– Мне надо в церковь! – уже не так настойчиво, но ещё по-прежнему вызывающе проговорила Наташка.

– Открой, – попросил кротко старик.

Сторож загремел замком, высвобождая его дужку из проушин, распахнул решётчатую створку на ширину, достаточную для прохода Наташки.

Она шагнула в проём и двинулась к храму. Священник шёл позади. Невольно замедляя шаги, Наташка слышала, помимо хруста щебня под ногами, позвякивание ключей в связке: видимо, их перебирал священник в поиске нужного.

Дойдя до ступенек храма, Наташка осеклась, будто какая-то сила остановила. Весь пыл у неё угас. Она повернулась к священнику и, сама не ожидая того, проговорила надломленным, почти плачущим голосом:

– Не надо.

В ответ не прозвучало ни возмущения, ни упреков. Священник лишь вздохнул и, осенив её крестом, тихо промолвил:

– Иди с Богом.

Его слова, сказанные с неожиданным сочувствием, пониманием и теплотой, вызвали в Наташке шемящее чувство вины перед этим

пожилым человеком, потревоженным по её прихоти в такое позднее время.

Сторож выпустил её за ворота, снова загремел замком. За воротами у Наташки вырвался невольный вздох, она виновато подняла взгляд к небу, оно уже было тёмным, и Млечный Путь искрился в безбрежном пространстве светлой полосой мелких бисерных звёздочек.

Наташка почувствовала, что к костру она возвращается какой-то другой – не такой, как прежде.

Компания встретила её молча, но с любопытствующими взглядами.

– Ну что? – первым нарушил это молчание Лёха.

– Дура я! Вот и всё, – призналась Наташка устало и опустошённо.

Костёр догорал, становилось холодно, с реки тянуло сыростью, водка давно кончилась, на всех накатила похмельная дрожь. Компания тихо собралась и пошла.

Наташка приотстала, остановилась, с минуты смотрела сквозь тьму в сторону монастыря, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Они были неприятными, даже горькими, но Наташка чувствовала, что именно они самые важные для неё сейчас.

МОЛИТВА ИЗ МАМИНОГО КЛУБОЧКА

После боёв на острове Даманский в марте 1969 года на границе с Китаем была введена более жёсткая инструкция по охране наших рубежей. Мы теперь могли открывать огонь на поражение, а не давать бесполезные и бессмысленные «отмашки», если видели, что вооружённые китайцы переходили на нашу территорию.

И если до этого мы уходили в наряд по охране границы, имея в экипировке автомат и пару магазинов с патронами к нему, то теперь нам добавили ещё два магазина, дали пару гранат, штык-нож и обязательно «мэсээл» – малую сапёрную лопату.

Лето шестьдесят девятого года было для нашей заставы просто сумасшедшим. Обстановка держала нервы в постоянном накале: уходя ежедневно в наряд по охране границы, не знали, вернёмся ли... Всё время ожидали нападения. Они случались то на одной, то на другой заставе необъятной китайской границы – информацию эту до нас доводили. Службу несли в изнурительном усиленном режиме.

Отоспавшись после ночного наряда и пообе-

дав, мы вооружались ломками, лопатами, кирками и строили оборонительные сооружения вокруг заставы: копали траншеи, рыли блиндажи, бетонировали доты — всё вручную, до изнеможения. В армии такой труд стоит дешево. Долбили камень: застава стояла в предгорье, и каменистого грунта хватало — конец лома из толстой арматурной стали, заостренного в кузнице соседнего села Ак-Чука методомковки, очень скоро превращался в тупой и округлый, как яйцо.

Что поразительно, все предыдущие годы опорный пункт нашей заставы находился на холме в двух километрах от неё. То есть в случае военных действий мы должны были хватать кому что положено согласно боевому расчету и мчаться в опорный пункт. Бежать с заставы! И это как-то не укладывалось в наших головах: на заставе — стены казармы метровой толщины, на заставе — склад оружия и боеприпасов, продукты, наконец. А мы должны всё это бросить и два километра бежать в тыл по открытой местности, где нас перешёлкали бы как куропаток на первой же сотне метров. Да если бы и удалось кому-то добежать до окопов опорного — всё равно ты на все сто обречён на смерть. Много ли утащишь с собой боезапаса?..

После Даманского и вооруженных стычек на других заставах это, видимо, дошло до высшего начальства. Генерал округа Меркулов не однажды побывал в нашем Бахтинском отряде, а его заместитель генерал-майор Голубев — и на нашей заставе имени Григория Мезенцева; оборону принялись строить непосредственно вокруг заставы. Выкопали траншеи по полному профилю. А выход в них был устроен у нас прямо из кубрика — из спального помещения казармы. Откроешь люк в полу, прыгнешь в него и выбегаешь куда тебе положено.

В особо напряжённые периоды спали, случалось, прямо в окопах, а если в кубрике, то сняв лишь сапоги. Подсумок с патронами на поясе, автомат возле кровати на полу, чтоб руку опустил и...

Моя кровать стояла возле окошка. Когда ложился спать, каждый раз мне становилось жутковато, ведь в случае нападения на заставу

— первые гранаты полетят в окна. Потом кто-то, может быть, начальник заставы капитан Жёлудев, догадался сплести маты из прутьев кустарника, росшего вдоль арыка, и этими матами стали снаружи завешивать на ночь окна спального помещения.

Напали они на рассвете. Санька Гукáлов — пулемётчик-богатырь — был убит в ходе сообщения на полдороге от казармы к доту, шальная пуля разворотила голову... Его второй номер — Мальцев, одутловатый чернявый коротышка, — выронив банки с патронами, стоял над убитым как мраморный, с выражением смертельно напуганного идиота.

Подхватив Санькин пулемёт, я покрыл Мальцева такими приказными словами, не записанными ни в одном уставе, что он сразу опомнился.

Влетев в дот, я установил пулемёт к амбразуре на сошки и закричал на Мальцева, чтоб скорее подавал ленту с патронами, ведь в таких ситуациях решают всё секунды. Но у него тряслись руки, а подбородок скакал, как лапка швейной машинки, он ничего не соображал, опять лишившись самообладания. Пришлось плюнуть на него и самому присоединить банку, накинуть ленту. Я открыл огонь.

Они шли валом, как катится морская вода, и мне тоскливо подумалось, что воевать с ними придётся нам недолго... Ну, сколько продержатся три десятка человек против такой орды?..

Лента кончилась мгновенно. До меня дошло, что в горячке я посылаю пули в белый свет и толку от моей стрельбы никакого, один шумовой эффект разве что.

Мальцев постепенно всё-таки приходил в себя и сумел присоединить новую банку, накинул ленту.

Кругом шла стрельба, застава оборонялась. В доте воняло терпким пороховым дымом, першило в носоглотке. Кто-то закричал страшным воплем, видимо, тяжелораненый. От этого жалобного крика даже спину прохватывало колючей судорогой. Я приказал Мальцеву бежать скорее за патронами, а сам стал вести огонь хладнокровней, прицельно.

Эффект был поразительный: теряя сопле-

менников и повинуюсь страху смерти, вражеские цепи сразу залегли. Теперь я стрелял, только когда противник поднимался, чтобы и наверняка, и заодно ствол пулемёта не перегревался, — давал ему передышку, хотя сменный лежал в чехле рядом.

Мальцев, весь расхристанный, бледный и взмокший, пыхтя, приволок сразу четыре банки. Его глаза, выпученные от страха, казалось, так сейчас и выкатятся из своих глазниц. Но вскоре мы освоились настолько, что уже не давали врагу, как говорится, и головы поднять.

И всё же вражеские командиры сделали что-то такое, что заставило их солдат преодолеть власть смерти, оторваться от земли, и они вновь пошли валом в атаку, не жалея себя, больше не замечая, казалось, нашего беспощадного огня.

Кончилась очередная лента. Ошалелый, я откинул крышку коробки затвора для перезарядки. После металлического лязга пулемётного механизма и оглушительного треска стрельбы мне показалось, что в доте совсем даже тихо. Слышалось потерянное бормотание Мальцева: «Старшина-а, старшина-а...» Он вновь не мог справиться с патронной банкой.

И тут скрипучая дощатая дверца сзади нас распахнулась так резко, что мы оба как по команде повернулись к ней всем корпусом. Два автомата уставились в нас чёрными зрачками стволов. Внезапно смерть оказалась так близко, что не хватило времени даже испугаться.

Наверно, видя, что у нас в руках ничего нет, враги не выстрелили, а скомендовали:

— Шоу цзюцилай!

Они как будто знали, что мы всё лето мусолили выданные нам разговорники, где в русской транскрипции были расписаны различные команды, которые нам следовало подавать при случае... Но сейчас смысл команды до меня дошёл не через слух, а, наверно, через поры на коже. До Мальцева, видимо, тоже, потому что руки наши поднялись вверх одновременно.

— Цзыхуй юань!¹ — кивнул на меня со злорадной усмешкой один из «хунхузов», заметив на погонах широкий галун.

Нас провели во двор заставы, занятой вра-

гом. Ни одного живого нашего пограничника не было видно. А из узкоглазых басурман, кроме этих двух, никто на нас внимания не обращал. Они же беспощадно и больно подтыкали нас в спины штык-ножами автоматов Калашникова. Вооружили мы «братьев»!.. Но теперь нам спешить, похоже, было уже некуда... На китайской стороне взошло солнышко.

Накатило невыносимо тоскливое ощущение, что мы с Мальцевым обречены разделить горькую участь наших погибших товарищей. В этот момент мне и вспомнился мой вещмешок, подвязанный, как и положено, к сетке под солдатской кроватью. В нём лежал клубочек белых ниток, перепачканный сверху до серости. Два с небольшим года назад, провожая меня в армию, мама навилá этот клубочек на бумажку, где её рукой была написана молитва, в эту бумажку был завернут крохотный алюминиевый образок — простенький медальончик с изображением Богородицы на одной стороне и Николая Чудотворца — на другой.

Вера в Бога — тем более в армии — тогда была под строгим запретом. Потому молитва и оказалась надёжно запрятана в нитки, чтобы её не нашли командиры и я через это как-нибудь не пострадал. Прошедшая «десятилетку» в сталинских лагерях Свердловской области мама знала, что делала.

Молитва и образок должны были хранить меня от бед, и мама наказывала беречь клубочек, не терять его при любых обстоятельствах. И я, как мог, берёг, на загрязнившиеся мои нитки никто не покушался; но молитвы, конечно, я не знал, только помнились случайно отпечатавшиеся в памяти моей три первых слова: «Да воскреснет Бог...» Они и вспомнились мне в эту минуту как последняя соломинка, и подумалось в неотвратимой смертельной тоске...

Китайцы подвели нас к крыльцу Ленинской комнаты, жестом приказали подняться на вторую — верхнюю — ступеньку, вскинули автоматы. Мальцев, жалобно всхлипывая, плакал как ребёнок, разрывая моё сердце. Сверху ки-

¹ Командир! (*кит.*)

тайцы показались мне совсем низкорослыми. Один из них с широкой, по-дурацки весёлой улыбкой скомандовал:

— Кайхо!²

Склоняя перед смертью голову, взглядом я ещё успел поймать на срезе автоматного ствола, наведённого мне в лоб, блеснувший огонь пороховой вспышки, и в то же мгновение солнечный день обрезала для меня чёрная, как сажа, тьма, в ней исчезло всё: словно меня перекинуло в период до сотворения мира — угасло сознание.

Когда глаза мои открылись и я постепенно начал приходить в себя, была ночь. В чёрном южном небе золотисто светились звёзды. Я с трудом сел, испытывая невыносимую боль в темени. Приложил руку и ощутил выше лба продолговатую корку запёкшейся крови. Всё вспомнил и догадался обрадованно, что пуля попала мне в голову каким-то чудом под малым углом и срикошетила от крепкой в этом месте кости черепа. Мальцев лежал тут же, дотронулся до него — он был холодным.

Во дворе заставы, весело перебрасываясь мяукающими непонятными словами, сновали вражеские воины, занимаясь какими-то своими делами. Встать на ноги сил у меня не было, да и заметили бы сразу, если б удалось подняться, а потому я лёг на живот и тихо, осторожно пополз вдоль бассейна к погребу, дальше — мимо заправочной, мимо собачника, за территорию заставы, в тыл, в сопки, в надежде попасть к своим. И выполз к утру.

ДРУЗЬЯ

Жили-были два приятеля, друзья детства. Один, Петро, отслужив в армии, вернулся в родную деревню (когда-то большое село), да там и остался. Окончил курсы электрика и по этой специальности работал.

Меня поразило, откуда здесь появились наши уральские берёзы? Раньше их не было... В недоумении этом я и очнулся в кубрике на своей кровати, рядом с которой лежал мой боевой друг — автомат. Оказывается, и бой, и расстрел мне в эту ночь приснились...

Весь день проходил я тогда в шоке, суеверно гадая, к чему такой жуткий сон?..

С тех пор прошло более тридцати лет. Наверное, тысячи разных снов перевидал я за это время, но почти все они забылись, а этот до сего дня стоит перед глазами. Такое потрясение пережил я в нём! И только теперь я понял, в чём тут дело: да, происходило-то всё во сне, но ощущения переживались реальные: я испытал настоящий расстрел, уход за черту бытия...

Зачем, для чего дал мне Творец испытать это во сне? Ведь просто так, всё больше убеждаюсь я с годами, ничего в этой жизни не бывает. Может, для понимания, что жизнь — дар бесценный? Для предостережения, что игратья легкомысленно этим даром нельзя, опасно. К чему Он готовил меня? Исполняю ли я своё предназначение?

Царствие небесное маме моей! Не раз спасался той молитвой её, когда бывал возле смерти реальной, а не во сне. А клубочек я берегу до сих пор и молитву Животворящему Кресту знаю теперь наизусть.

² Огонь! (цит.)

Другой, Коля, пусть поначалу с большим трудом, но обосновался и жил в городе. Он почти на каждый выходной приезжал в деревню, в родной дом. Как, впрочем, и многие другие, у кого родовые гнёзда превратились в дачные уголки.

Друзья часто общались, обсуждали современную жизнь. С годами их сердца всё больше притягивало к отчине, и хотелось им, чтоб именно родной уголок был краше, милее, уютнее других мест.

Так и додумались приятели построить на ре-

чушке Лепешинке пруд – украшение деревни. Говорят, что когда-то в старину он тут был, даже рыба водилась. Много рыбы. Место самое подходящее: речушка двухметровой ширины, балочка с крутыми склонами, но не обрывистыми, а дернистыми.

За шашлыками с пивом обговорили всё, составили план. Приятель-горожанин, Коля, взял на себя финансовую сторону, а сельчанин Петро – организацию материально-техническую. Или проще: горожанин (он занимался мелким предпринимательством) давал деньги, крестьянин строил плотину, нанимал технику, рабочих, закупал металл и цемент...

Оба мужика оказались думающие, сметливые. Чтобы сооружение делать не с бухты-барахты, не раз выходили на то место, где запланировали поставить плотину, обсуждали, прикидывали, уточняли. Понимали, что всё в их деле будет зависеть от самой плотины, от технического решения затвора воды, иначе воду не удержишь.

Рядом с руслом речки забетонировали затвор, лоток для стока воды в бучило, куда станет падать вода, вымывая ямину, омут. Выдержали положенное время. Перекрыли русло, вода пошла по лотку, не поднимаясь выше и не мешая насыпать плотину. Нагрудили землю, утрамбовали, прокатали бульдозером. Тоже выдержали какое-то время. Наконец – дело-то шло уже к осени – решили, что пора опускать ставень затвора, воду останавливать, накапливать и поднимать до верхнего края ставня.

Ох, какая красота заиграла, когда вода набралась! А когда приятели увидели в своём пруду белую стаю домашних гусей Мотьки Сазонова, величественно плавающих на середине водоёма, от радости чуть с ума не сошли. Вот это да, вот это красотища-а! Деревня Шептуновка будто на праздник принарядилась.

Мотья пришёл, осмотрел внимательно плотину, снисходительно похлопывал земляков по плечу, приговаривал: «Ну, молодцы, собаки! Какое дело провернули! Считаю, увековечили себя в истории села! А гусям-то моим какой фестиваль! Да-а!»

А зимой для ребятни деревенской каток на

пруду можно будет расчистить, пусть шайбу гоняют, в спорте закаляются.

Главе местного самоуправления Матвею Гавриловичу – за глаза все жители звали его Мотькой Сазоновым – принесли телеграмму. Прежде, то есть до свалившейся на Россию чесотки оптимизации и зуда реформаторства, человека на этой должности называли просто председателем сельсовета, теперь – глава. Принесли ему телеграмму, да необычную – правительственную. Телеграмму, подписанную аж самим министром природных ресурсов России – грозным министром, которого многие большие начальники боялись как огня.

Телеграмма министра – ему, Сазонову?! Лично Сазонову?! Из самой Москвы! Матвей Гаврилович был в шоке. Телеграмма произвела на него такое парализующее действие, что он даже на ногах не смог устоять: под коленками задрожало, ноги ослабели, подогнулись, и он сел на стул, держа телеграмму обеими руками так крепко, как при вождении автомобиля держит руль впервые севший за него новичок.

Руки тоже дрожали. Сазонов отчётливо понял: неисполнение указания министра обернётся для него, Сазонова, через эту телеграмму мгновенным снятием с должности. А это и позор, и крушение всей его карьеры! Да что – его, тут крушение-то налаженной жизни всей семьи. Это в нынешних-то условиях? Катастрофа!

Отдрожав неизбежное время и немного придя в себя, Сазонов снова перечёл телеграмму.

«Правительственная.

Министерство природных ресурсов.

Главе местного самоуправления

Сазонову М.Г.

Незамедлительно ликвидировать несанкционированный пруд в деревне Шептуновке, возведённый в нарушение сложившейся экосистемы. Об исполнении телеграфировать».

Незамедлительно. Об исполнении телеграфировать. Дух заходил, как это всё серьёзно обернулось. Казалось, чего тут особенно – мужики прудишко соорудили в деревне.

А вот на тебе! Само министерство возмущено. В столице! Да как оно прознало-то?! Не иначе как тут что-то тайное с обороной страны связано — пронзила Сазонова страшная догадка.

Уже через час был поднят ставень затвора. Почуввав полную свободу, спёртая вода бешено хлынула, снося всё на своём пути. Пруд начал опускаться, уходила рыба, запущенные мальки, а на плотине ковырялся экскаватор на базе трактора «Беларусь», неумолимо разгребая своим железным ковшом податливую влажную землю. Переполошённые гуси Мотьки Сазонова выбрались на бугор и, вытянув шеи, тревожно всхлопывая крыльями, бросали в небо звонко-пронзительные, словно протестующие, вскрики, заглушающие даже рокот мотора. Умолкали, тревожно складывали крылья, с непониманием смотрели на убывающий пруд, на суетящегося возле плотины и размахивающего руками своего хозяина, и всё повторялось.

К вечеру в министерство ушла телеграмма об исполнении.

В субботу изрядно набравшиеся друзья, Петро и Коля, угрюмо сидели за столом за бутылкой водки, не первой уже в этот день — молча горевали. И лишь время от времени деревенский электрик восклицал рыдающим тоном:

— Да как они узнали-то, Коля?!

Городской приятель взглядывал на него в такую минуту коротко и, ничего не отвечая, отводил тяжёлый взгляд.

— Коля, какую мы тут экосистему-то нарушили? Мы же восстановили её, как в старину была!

И только один человек в деревне Шептуновке знал тайные пружины всей этой истории, злорадно поглядывая на ушедший пруд, на речушку, вобравшую воду в свои берега как прежде. Это была высокомерная старуха по прозвищу Никитиха.

Её сын Никита, бывший комсомольский вождь, а ныне большой начальник в областном городе, когда-то работал в обкоме комсомола вместе с Георгием, теперешним министром, — был в его подчинении. Когда дородный Ники-

та приехал к матери навестить её, Никитиха сразу повела его в огород.

— Что это?! — удивился сын, увидев воду, затопившую часть огорода и подступившую почти к самой картошке.

Никитиха, не жалея никаких красок, — а в этом она считалась в Шептуновке большой мастерицей, — рассказала, как деревенские забулдыги Петька и Никола построили пруд и вот теперь её подтапливает. А что станет весной? Весь дом вода зальёт!

Заведённый матерью Никита сел в свой внедорожник, съездил на пруд. Осмотрел плотину, невольно отметив про себя, как «забулдыги» сделали всё добротнo и надёжно. Набежала даже непрошенная мысль и коснулась его лишь на одну секунду, что не надо было ему при перестройке спускать усадьбу матери так близко к речке.

Приехав с плотины, Никита уверенно сказал матери, чтоб понапрасну не беспокоилась, не волновалась, никакого пруда тут не будет и в помине.

Вернувшись в город, он позвонил по мобильнику Георгию. Они поддерживали дружеские связи, Никита помогал министру содержать на родине в порядке его загородный особняк, выстроенный на берегу Камы, в заливе заповедной красоты — в Лебядкино, в окружении корабельных сосен.

ГРОБ С КАМНЯМИ

Было раннее утро. Солнечное такое, тихое. Лёшка собирался идти на рыбалку. Торопливо уминал скудный завтрак, выбирая из варёной мясистой рыбины тонкие кости. Цвёл шиповник, хорошо клевал голавль — у него ход. Об этом Лёшка и думал. В дверь постучали.

— Можно! — крикнул с безразличием Лёшка. И буркнул: — Вежливые какие граждане пошли...

В избёнку вошла Алевтина, староста деревни. Он удивился. Неожиданно. Чего это ей надо?

— Лёша, здравствуй! Маня умерла, надо могилу копать.

— Здорово, Аля! Какая Маня?! — уставился он. — В нашей деревне вроде нет таких...

— Она жила в Петровке, полтора километра от нас. Но у них там кладбища своего не было, сам знаешь. Хоронили всех на нашем. А теперь и от самой Петровки следов не осталось. Тоже похоронили, — Аля усмехнулась. — Маня ещё в восьмидесятых уехала в город к дочери, у неё и доживала свой век. А похоронить себя завещала здесь, на родине. Вот дочь позвонила. Всё, говорит, оплатит. Гроб привезут к четырём часам.

Про рыбалку Лёшка сразу забыл. Такая шабашка подвернулась! В голове мгновенно сложилась картина похорон, копки могилы. Один помощник Лёше — Сашка, постоянный напарник. Но вдвоём тяжело копать: земля у них в Чёрной Речке — глина с песком. Значит, придётся третьим звать Николу. А где Никола, там и Ванька. Этот халяву за десять вёрст под землёй чует... Как прибор землетрясения. Потом ещё на хвост сядут человека три, не меньше. Итого семеро. А заказчики городские, богатые... Надо просить за работу на десять пудов, не меньше.

— Две тыщи, меньше никак! — поставил Лёшка твёрдое условие.

— Не многовато? — засомневалась Алевтина.

— Попробуй сама копать — дешевле будет, —

равнодушно предложил Лёшка. — Я вон на рыбалку собрался идти. Голавль хорошо клюёт. Некогда мне базар гнать. Привыкли всё к бесплатному...

— Лёша, не подводи меня! — Алевтина притворно повысила голос. — Заплатят, думаю, раз обещают. Давай иди копать. Покойник ждать не будет. Не бери грех на душу. Не делай позору на всю нашу деревню. А то и на область даже...

— Ну, гляди, если что — своими доплачивать будешь, — ответил шутливо Лёшка.

Алевтина поняла, что это согласие.

— К четырём часам привезут! — напомнила она.

— К трём будет готово, — заверил Лёшка. — Давай посылай сейчас ко мне Сашку Батрака, чтобы мне за ним не бегать. Я хоть чаю той порой попою.

Алевтина ушла.

Лёшка сварил по-быстрому чифирчику, с наслаждением почуркал и вышел на улицу.

С кладбищенского холма вся Чёрная Речка, своей единственной улицей изогнувшаяся коромыслом вдоль одноимённой речки, как на ладошке лежала.

— Любуются покойнички-то наши своей деревенькой, — проговорил Лёшка, задумчиво оглядывая знакомый почти с пелёнок пейзаж.

Кладбище было старым, неухоженным, сильно заросшим. Выбрали на взгорке местечко, где меньше кустов росло: копать легче — корней нет, пусть и старушка радуется солнышку.

— Эх, лопаточка моя, — заговорил Лёшка, обращаясь к своему орудию труда, — сколько ты народу на тот свет отправила... Наверно, тебе за это рай светит, а я вот одну только дуру на тот свет прописал, и то семь лет ада схлопотал...

Мужики рассмеялись. Лет пятнадцать назад, когда в широкий ход пошёл спирт «рояль», говорили, что американский, от которого не пьянели, а дурели, ничего не соображая, озверевший Лёшка из ревности зарубил топором свою жену-алкоголичку, отсидел семь лет. Освободился по УДО. Теперь жил в своей избёнке тихо, на пособие по безработице (работы никакой в округе не было), подкармливался рыбной ловлей, иногда перепадавшими шабашками.

От воровства воздерживался по принципу: не воруй, где живёшь, — не живи, где воруюешь.

В последние годы он числился негласно в Чёрной Речке главным могильщиком.

Как Лёшка и предполагал, за третьим приглашённым — Николаем — притащился Ванька, который с напускной важностью мог только языком трепать. Когда-то он почти окончил ветеринарный техникум, но ни дня не работал по неполученной специальности. Была семья, сын, жена-красавица. Да распалась семья. Так и проболтался Ванька в жизни на чужих харчах. А при случае всегда сообщал новому собеседнику, что за его плечами Уральский сельхозинститут, зоотехническое образование, что у него до сих пор широкие связи и даже ректор его лучший друг, так что если... то...

Принялись копать. Работали втроём попеременно. И дело шло, в общем-то, споро. Оставалось углубиться ещё на пару штыков, когда под лопатой заскрежетало, к удивлению мужиков, ржавое железо.

— Откуда железо на такой глубине? — удивился Лёшка. — Клад, что ли? Я в детстве слышал от отца, что в Гражданскую войну где-то тут на кладбище никитовские мужики награбленное золото закопали. Банда у них была...

Ванька подскочил как на пружине:

— Мужики! Застолбил — делим поровну!

— Таким сачкам, как ты, — заклёпки от женских трусов, — осадил его Лёшка.

— Ребята, а это ведь... — высказал догадку Сашка Батрак. — Кто-то здесь в цинковом гробу был похоронен. Могила в этом месте была.

— Так вроде никаких признаков, что могила? — усомнился Лёшка.

— Если старая, так какие тебе признаки? — многознающе подтвердил Ванька. — Детдомовских придурков сколько тут было похоронено, попробуй найди хоть одну могилку... Всё время сровняло, — заключил он.

Лёшка согласился.

В начале шестидесятых в Чёрной Речке несколько лет был приют для детей-олигофренов, которые жили мало и часто умирали.

Принялись строить предположения, кто бы тут мог быть похоронен в цинковом гробу. Никого не смогли вспомнить. Даже никаких разговоров про это не слышали.

— Кончай перекур! — скомандовал Лёшка, потягиваясь. — Гости-то уж скоро нагрянут, а у нас не то что стол не накрыт, а ещё и дрова не нарублены, чтоб суп варить.

— Жрать, Лёха, хочется, — пожаловался Никола.

— Терпи! — дал Лёша наказ. — Пока не закопаем, никто жрать нам не даст. Чего из дома не взял?

— Взял бы, да никто не дал, — пожаловался тоскливо Никола. — Нечего.

Стали осторожно выбирать куски истлевшей жести, чтоб сделать подкоп вбок и сложить туда кости. Но костей не оказалось. Точнее, была одна кость — бедренная, ещё обломок другой кости, похоже, от голени. Лежали они на комьях истлевшей ткани, которая при прикосновении рассыпалась, обнажая камни.

Мужики переглянулись в недоумении: камни в гробу?

— Ну ё на... Мне страшно! — признался Сашка и панически выскочил из почти готовой могилы.

Возникло напряжённое молчание. Каждый испытывал необъяснимую тревогу, таинственность которой требовала хоть какого-то объяснения. Видавший виды Лёшка принял осторожно расковыривать камни. Остальные ступидились на краю могилы, смотрели вниз.

— У нас таких не бывает, — озадачился Лёшка, выбрасывая один из камней кверху, мужики невольно отшатнулись.

Из-за этой заминки могилу к обещанному сроку выкопать не сумели. Приехавшим чуть раньше назначенного времени людям — на пазике с гробом старушки Мани и на джипе — пришлось немного ждать. И то сто пятьдесят километров от города — попробуй время точно рассчитать! Прибыли только дочь Мани — Людмила, две Маниных внучки и их мужья. Один долговязый, лохматый, постарше, другой — помоложе, лет тридцати пяти, крепыш среднего роста, наголо стриженный. Они стояли в стороне возле сверкающей на солнце чёрной «Тойоты» крепыша, курили, о чём-то разговаривая. Собрались оповещённые Алевтиной жители Чёрной Речки — десятка полтора; в основном это были женщины и дряхлые старушки, которые помнили Маню.

Они окружили Людмилу, расспрашивали её

о жизни Мани, с которой когда-то вместе работали в одном колхозе.

— Бабоньки, — обратилась озабоченно к ним Клавдия Ивановна, которая в деревне читала по умершим Псалтырь, — у Мани-то ведь сын похоронен где-то здесь, надо было рядом их положить. Людмила? В коем месте брат-то у тебя похоронен?

— Не знаю, — пожалала та растерянно и стыдливо плечами. — У меня тогда грудной ребёнок был... — Она покосилась на младшую дочь.

— Староста? — повернулась Клавдия к Алевтине.

— А я-то откуда могу знать? Я первый год старостой, а в то время здесь вовсе не жила, — ответила Алевтина, которая вернулась в свою родную деревню как вышла на пенсию, купила здесь дом: в родительском жил брат.

— Готово! — крикнул за всех Лёшка, вылезая из могилы весь мокрый от пота.

Не зная размера гроба, он предусмотрительно сделал в ногах подкоп.

Выбравшись наверх, бросил неодобрительный взгляд на стоявших несколько в сторонке от других молодых мужиков: на поживу пришли.

Подошла Алевтина, попеняла Лёшке:

— Чёт вы, друзья, обещали к трём, а и к четырём не управились?.. Вроде трезвые сегодня?..

Люди стали грудиться к могилке. Клавдия Ивановна заглянула в глубину, перекрестила яму, одобрила: хорошая-де могила.

— Так вон, видишь, — стал Лёшка оправдываться перед Алевтиной, — наткнулись на железный гроб... А в нём одна кость с обломком и камни. Ничё не понятно! — Зябко передёрнул плечами Лёшка.

Он жестом указал на собранные в сторонке изъеденные ржавчиной пластинки железа и небольшую горку камней. Кость и обломок другой кости он положил в подкоп, присыпал землёй.

— Гадали мы тут с мужиками, кого у нас в цинковом гробу могли похоронить, да никто не вспомнил.

Слыша этот разговор, Клавдия Ивановна вдруг оживилась, встрепенулась вся.

— Так это, поди, Манин-то сын тут и лежит! — воскликнула она. — Я помню, в 81-м году его привезли! В Аф... в Аф... — заикалась она, стараясь выговорить трудное для неё слово. На-

конец справилась: — В Аф-ганистане его убили. Военные привезли и хоронили... Меньше месяца всего-то оставалось дослужить. Маню сразу после этого и парализовало тогда. А смотри-ка, скоко ещё прожила... — удивилась Клавдия Ивановна.

— А почему всего одна кость с обломком? Ножная. А остальные где тогда? — растерянно удивился Лёшка.

Народ с пугливым интересом внимал этому разговору. Молчали, вникая в услышанное.

— Так, может, всё, что осталось от него! — высказала Клавдия Ивановна догадку.

И это стало настолько очевидным, что никто не возразил.

— Гроб запаян был, вскрывать офицер ни в какую не разрешил, — вспоминала Клавдия Ивановна. — Стёклышко, помню, сверху было, в головах — да в него ничё не увидишь, краской замазано изнутри...

— Эт-то-о да-а! — согласился ошеломлённый Лёшка. — Стёклышко я нашёл в могиле. А камни?! — развёл он вопросительно руками и оглянулся на небольшую горку камней, сложенных вместе с остатками железного гроба. Туда же было брошено и расколовшееся от удара лопатой стёклышко.

Все с любопытством повернулись, посмотрели на эти камни.

— Бог его знает, — Клавдия покачала в недоумении головой и задумчиво проговорила, крестясь: — Вот где мать-страдалица с сыночком-то встретились... Через тридцать пять годочков, выходит... Царствие небесное!

Автобус, как вытащили из него гроб, сразу уехал. По знаку Людмилы зять-крепыш достал из вместительного багажника своей «Тойоты» легкий складной стол. Внуки Мани выставили на него поминальную трапезу: пироги, сок в коробках, воду, одноразовые пластиковые стаканчики. Ещё рулон бумажных полотенец. Две бутылки водки.

— Это вот грех, — вздохнула осуждающе Клавдия Ивановна.

Старушки, одобряя её слова, качнули головами. Пришедшие на поживу мужики, увидев бутылки, подталкивая друг друга, скромно и стыдливо приблизились к столику.

— Помянуть надо. Какой грех... — бормотал в оправдание Никола-рыжий.

Людмила в сторонке разговаривала с Алевтиной, та поманила Лёшку. Он подошёл.

— Вот, как договаривались, — протянула ему две тысячи рублей двумя купюрами.

— Помельче бы! — заволновался Лёшка. — Сотенными бы...

Сашка, Никола и Ванька напряжённо косились в сторону Лёшки, который старался заслонить своим телом денежный расчёт. Людмила достала из кошелька две пятисотки, а вторую тысячу отсчитала сторублёвыми — сделала замену. Лёшка и крупные, и мелкие купюры разделил и сунул в разные карманы.

— А это вам за могилку, отдельно от других, как принято, — протянула Людмила пакет, — помяните маму. И... Коленьку, брата, убиенного воина...

Принимая пакет, Лёшка радостно ощутил тяжесть стекла. «Две», — отметил он про себя. Перекрестился на просьбу Людмилы помянуть. Но вышло как-то суетно, неловко и фальшиво. Пообещал за могилкой присмотреть, поправить, когда земля осядет (в этом он был человеком слова). Махнул напарникам рукой, и они, прихватив верёвки, топор и лопаты, двинулись вдогонку за ним — к нему домой.

Шли молча. Неожиданно Саша Батрак (так его прозвали за фамилию Батраков) объявил:

— Я понял, Лёха, откуда в гробу камни.

Все остановились, уставились на него вопросительно.

— Из Афгана, чтобы вес был у гроба, — пояснил Сашка. — Как будто там не одна нога, а целое тело. Потому и стекло было покрашено.

— Верно ведь догадался, собака! — согласился удивлённый Лёшка. — Потрясающе!

— А тряпки тогда для чего? — спросил Ванька. — Камни-то в тряпки были завёрнуты.

— А ты хочешь, чтоб они загремели в гробу, когда его в могилу опускали? — усмехнулся Лёшка. — Потрясающе! — качал он головой, не переставая удивляться находчивости военных.

ВОТ ОНО, РЯДОМ

В квартире свояка Михаила при ремонте заменили пол. Старые толстые доски, грубые, но ещё крепкие, свояченица Галя решила отвезти на дачу. Попросила меня помочь.

Было воскресенье. Я охотно согласился. У меня вспыхнул свой попутный интерес: в коридоре квартиры давно мешались две старые двери, они изрядно надоели, и я хотел их отвезти на свою дачу — участки наши рядом.

Галя наняла в какой-то транспортной фирме машину с почасовой оплатой. Погрузили мы с Михаилом доски, завернули ко мне, закинули здесь в кузов двери и отправились за город.

Доехать нам удалось, увы, только до начала дачного городка. Хотя дело происходило 25 ноября, но снег в 2001 году пошёл всего за неделю до этого, и в поле его лежало не больше десяти сантиметров. Однако за сутки до нашей поездки весь день гулял порывистый ветер, и здесь, на месте высоком, снег так крутило, что в лабиринтах дачных улочек выросли целые сугробы. Но, выезжая из города, мы об этом не знали. А здесь нам дальше пути не было. «Газель» буксовала, скаты зарывались.

Испытывая перед шофёром вину, мы трижды выталкивали машину, отгребая от колёс снег лопаткой. Проехать к домику свояка оказалось невозможно. С мучениями пробились всё-таки до места, на котором возможно было развернуться.

Здесь нам пришлось доски сбросить и машину отпустить. А что дальше? Оставить нельзя — разворуют. Поскребли мы пятернями в затылках и решили таскать на себе. А это аж целый километр.

Кто-то до нас прошёл, правда, по рыхлому снегу, следы проложил, однако тропинка не натоптана, шагать убродно. Я сходил пять раз. Михаил — четыре. Доски длинные, тяжёлые, плотные, многослойно покрытые краской, — больше двух не унесёшь. Намотались километры...

Двери мои пришлось оставить: после досок они казались слишком увесистыми. С ними я попросился «на квартиру» до весны к хозяину деревенского дома, возле которого мы и разгрузились. Прислонили мы «постояльцев» во дворе к стене сарая — и весь вопрос.

Закончили работу в шесть, по сумеркам. И сразу двинули на электричку, на Пятый километр. Времени оставалось в обрез.

Пришли на площадку вовремя, но электричка, как здесь случается очень часто, прибыла с опозданием. Правда, на сей раз всего на пятнадцать минут. Но и эти минуты показались мне бесконечными: стоял двенадцатиградусный морозец, а я был одет легко, в расчёте на недолгую энергичную работу и на прогулочную поездку в тёплой кабине автомобиля. Теперь, остывая на тягуне возле широченной в этом месте — два километра — реки Чусовой, моментально и сильно продрог. Калории от лёгкого завтрака давно уже испарились. За день я так проголодался, что во всём теле ощущал в этот момент дрожь и приступ жуткой слабости.

Своим желанием подкрепиться поделился мечтательно с Михаилом: неплохо бы, мол. Он ответил, что у него в сумке есть хлеб и в электричке перекусим. А я и не предполагал, что у него может быть какой-то запас: поездка планировалась всего-то двухчасовая.

В вагоне свояк достал еду: помятые ломтики чёрного хлеба и кружочки копчёной колбасы с налипшими крошками. Потом он развернул

газетный комок, из которого оголилась рюмочка на тонюсенькой ножке. Ну почему бы не прихватить с собой в такую экспедицию что-то попрочнее? Эмалированную кружку, гранёный стакан. На худой конец — пластиковый одноразовый стаканчик. Он бы в невероятно загаженной электричке — как говорит свояченица — транспорте для бедных, — куда больше подошёл. Нет, такое вот эстетство — хрупкая, изящная тридцатиграммовая рюмочка стеклянная! На ножке, которая была не толще соломинки... В этом весь Миша.

Скрутил он с бутылки пробку с безжалостным хрустом и наполнил рюмочку дорогой водкой «Флагман», которая оказалась хорошей и не бодрящей. За полчаса пути мы приложились к нежной посудинке раза по три. Согрелись, конечно, перекусили. Подкрепились.

А по-настоящему поели уже у него дома. И водку допили, и за чаем посидели.

Натруженные мышцы усталого и продрогшего тела блаженно размякли в домашнем тепле, ныли. И крохотная тесная кухня хрущёвки казалась в этот час сказочно уютной, и самая простая и обычная еда была необыкновенно вкусна — всё как-то неожиданно наполнилось новым смыслом.

Гоняешься в жизни за счастьем, гоняешься, аж вспотеешь... А счастье-то вот оно — рядом!

БОЖЬИ РАБЫ

1

В субботу после всенощной отец Евгений принимал исповедь у своих прихожан. Великий пост приближался к концу, и людей, желающих побывать у исповеди и причаститься, было много. Каждого человека предстояло терпеливо выслушать, подгото-

вить, настроить, вразумить, дать совет или наставление.

За день отец Евгений так устал, что уже едва держался на ногах. Да и постился он сам строго, без послаблений, а это тоже сказывалось на силах телесных.

С утра прошло богослужение, потом было соборование, последнее в этом посту, а после пришлось ещё покойника отпевать. Потом хозяйственные дела помешали сделать передышку. А той порой и день незаметно пролетел, настало время всенощную служить.

Наконец подошла к исповеди последняя старушка Федосья; она долго жаловалась на

нелёгкое житьё с молодыми, на сварливость невестки. Отец Евгений из последних сил терпеливо выслушал её, вздохнул и сказал, что судить надо себя, а не невестку, смиряться надо и терпеть, тогда легче будет всё вынести, молодых ведь под себя всё равно не переделаешь. Может, потому и послал ей Господь такую невестку, чтоб испытать в терпении и вере, дабы путь ко спасению обрела.

Старушка согласно кивала головой, но по выражению лица, по мелким и частым вздохам её было заметно, что соглашаться со священником ей не хотелось. Вот если бы он отругал невестку, а Федосье посочувствовал, тогда бы ей было всё понятно.

Батюшка наложил на Федосью пустяковую епитимью плечами для смирения: пять дней по десять раз ежедневно читать великопостную молитву Ефрема Сирина с тремя земными поклонами на каждом чтении. Затем батюшка прочёл разрешительную, отпустил грехи и, морщась от нестерпимой уже к этому часу боли в покалеченной и натруженной за день ноге, хотел было забрать с аналоя крест, Евангелие и уйти в алтарь, когда к нему приблизился, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, взлохмаченный рыжекудрый мужик. Крепкий, скуластый, но изрядно помятый. Пахло перегаром, мужик был в подпитии. Священник давно заметил, как человек этот стоял в сторонке и беспокойно почёсывал то за одним, то за другим ухом — нервничал. Оказывается, мужичок выжидал, когда пройдут все, чтоб ему никто не мешал. Батюшка изучил уже по опыту своему таких исповедующихся.

— У меня это... проблема, святой отец. Я давно с ней мучаюсь... Да это... не было человека, которому можно было рассказать, — заговорил сбивчиво, скорее даже забормотал мужик.

Услышав это нелепое к себе обращение — «святой отец» — священник внутренне воспротивился, но не стал перебивать человека, чтоб не сбить его с исповедального настроения, только отметил для себя, что после надо будет разъяснить ему: нет у православных такого дерзкого пред Богом, как у католиков, обращения «святой отец». Ну какой же он святой?.. Святые на небе.

— Про вас много хорошего люди говорят. Я

слыхал. Вот и подумал, что это... наверно, тот поп, которому довериться можно, — продолжал простодушно мужичок. — А у меня дело особое. Я в Ромахино с ним было сунулся, а там поп — комиссар такой... Только что без маузера. Ты, говорит, пьяное рыло, иди сперва проспись, а после скажешь мне, когда ко причастию ходил последний раз. А я, конечно, сроду не бывал! Тот поп говорит, посмотрю ещё, надо ли с тобой разговаривать... Я ведь к нему, как проспался, опять пришёл, потому что невтерпёж меня прижало, а он со мной всё равно говорить не захотел... А вас я как увидел, говорю себе, — мужик энергично постучал в свою гулкую грудь кулаком, — вот это поп, к которому ты должен идти и покаяться, он всё поймёт.

Отец Евгений терпеливо слушал, зная, что надо такому человеку дать высказаться, не вмешиваясь в движение души его, в порыв искренности, признания, к которому порой люди готовятся годами, чтоб переступить черту некую в душе и открыться. Он только извинительно и со стороны чуть заметно поморщился при слове «поп». Ну что тут, если человек в церкви «сроду не бывал», как говорит. Оно, конечно, выпивши, но выслушать надо, нельзя пренебрежение выказать, иначе он сюда никогда больше и не придёт. Отец-то Василий в Ромахино, конечно, строговат. Но ведь опять же для пользы спасения. Хотя помягче бы надо. Помягче, особенно с новоначальными. А отец Василий — батюшка строгий.

Федосья с любопытством наблюдала издали за подвыпившим мужиком, осуждающе покачивая головой; и можно было это понять так: один вот, совести нет — пьяный, пристаёт к священнику, а другой, вместо того чтобы прогнать его взашей, слушает пьяные бредни...

— Грех один точит меня страшно уже много лет, — рассказывал торопливо и сбивчиво мужичок. — Прямо как будто змея в сердце сидит и грызёт его, и грызёт... — закрутил он возле груди кулаками одним вокруг другого.

— Ну-ну, — подбодрил его священник.

— В Чечне я служил, это в первую ещё войну... — услышав такие слова, батюшка невольно вздрогнул. — Прижали нашу разведгруппу «духи». Я пулемётчиком был. Дослуживал уже

срок, до дембеля оставалась мне пара месяцев. А у меня вторым номером — салага был, ну, молоденький, это значит, солдатик — Женька. Напирают, надо отходить, наших уже перебили, а его как раз ранило. Тяжело ранило, в ногу, от колена до задницы распахало... Кровища... А отходить надо. Если его тащить — оба пропали. Пулемёт ведь тоже не бросишь. И я оставил тогда Женьку. С тропы только съёрнул в кусты и оставил. Конечно, он был обречён... Я у него патроны забрал и автомат взял. Этим и спасся сам, отстрелялся, удалось уйти. А Женька попал к «духам», а они тогда нашим сразу кердык делали. Горло просто резали и всё... Но, думаю, он всё же сам успел умереть. Раньше, чем его нашли они. И вот, святой отец, — захлюпал мужичок носом, — ходит ко мне во сне теперь этот Женька часто и не один год уже покоя не даёт. Гложет меня совесть. И с годами не забывается, а только сильнее всё... Сильнее! Извёлся я весь. Вот каюсь! Сейчас бы так не сделал. Лучше умереть было, всё равно собачья жизнь у меня от этого... Да и вообще, не только от этого... А тогда. А! — взмахнул он рукой в какой-то обречённости.

В этот миг священнику вспомнились слова знаменитейшего богослова второго века Тертуллиана, которые тот сказал про душу: что по природе своей она христианка. Так вот и есть, привела этого мужика душа-христианка в храм. Привела.

— А он что, товарищ-то, без сознания был или говорил тебе что-то? — спросил священник.

— Как же! Говорил, святой отец, говорил! — воскликнул мужик с жаром и завсхлипывал ещё горестнее. — Он ведь меня... уговаривал не бросать его. Вынести. Даже плакал. А я оставил его. Страшно было до ужаса! Ничё не соображал.

— Бросил раненого товарища, выходит, — вздохнул горестно священник. — И автомат с патронами забрал у него?

— Забрал автомат с патронами, святой отец, забрал.

— И ничего ты про него не знаешь?

— Ничего не знаю! — замотал энергично мужичок рыжей своей головой. — Так что тут узнаешь. Умер, и всё. А тело, правда, не нашли

после. Искали наши, не нашли. Прочесали всю зелёнку.

Впервые в жизни слушал священник такую исповедь, разом забыв про свою усталость, погружённый в какое-то угрюмое размышление и задумчивость.

А исповедующийся тяготился мучительно ожиданием, что скажет ему священник. Уши его полыхали, по всему лицу от напряжения выступили бисеринки пота, стекаясь со слезами на щеках.

2

Накрыли их тогда «духи», как и водится, неожиданно и внезапно. Поджидали в подходящем месте, на перевале. Большинство ребят в группе были перебиты в первые минуты боя. Остальные рассеялись. По понятиям, в этом месте никаких «духов» быть не должно было. Откуда они взялись, невозможно сказать.

Старослужащий солдат Андрей Репников, первый номер пулемёта, и салага Женька Сазонов, по прозвищу Женьшень, второй номер, хотя сразу залегли, развернули пулемёт и стали отстреливаться, но, видимо, от страха, от потрясения Андрей посылал пули неведомо куда, не поражая врага. А салага Женьшень совсем ничего не соображал. Это ведь перед экраном телевизора легко базарить, как надо воевать, а когда рядом трупы товарищей и каждая летящая пуля твоя — страх смерти парализует и ум, и тело. И вдруг Женьшень ранило. Он дико закричал то ли при виде крови, то ли от боли. Но умолк скоро, катаясь по земле и постепенно затихая.

Андрей понял сразу, что сейчас им здесь обоим будет крышка, отходить надо срочно. Но солдатик молодой своё явно отжил. С такой-то раной... Её и перевязать-то невозможно.

Когда Андрей под прикрытием кустов забрал автомат и магазины с патронами, Женька понял, что тот его бросает и уходит. Андрей старался не смотреть в глаза своего второго номера, только разок глянул, не удержавшись. Взгляд раненого выдержать было невозможно, в нём пронзительная немая мольба не бросать. А что тут сделаешь?

— Землячо-ок, не оставляй, — плачущим жалким голоском попросил раненый, — пожалуйста, вынеси меня, землячо-ок...

Они действительно были земляками, оба с Урала, даже из одной области — Пермской, только из разных районов.

— Ты всё равно сейчас подохнешь, — в каком-то прямо-таки нечеловеческом возбуждении прохрипел сдавленным голосом Андрей, — а я не хочу, чтоб из-за тебя и мне «духи» кердык сделали!

Под прикрытием зелёнки, как они здесь называли растительность, Андрей стал отходить вдоль тропы вниз. Но «духи» преследовали, дыша в затылок. Он их не видел в зелёнке, но слышал гортанную переключку, казалось, что они-то видят его и бегут именно за ним. Больше никого нигде не было. Пули дзинькали то выше, то чиркали рядом сбоку.

Остатками патронов, поливая из пулемёта наугад пространство сзади себя, он вынудил погоню остановиться: на какое-то время положил их, видимо, на землю. Потом, израсходовав патроны, в секунды натренированно разобрав ставший бесполезным пулемёт, затвор метнул в одну сторону с кручи, ствол, обжёгши руку, швырнул в другую, в заросли; сделал несколько беговых шагов, и остальное — коробку с прикладом — бросил в ущелье. Дальше он стал убежать быстро вниз по тропе, падая и кувыркаясь, панически отстреливаясь наугад уже из автомата Женьшень. Ему удалось оторваться... Что стало с остальными, он не знал. Оставшиеся в живых отходили разрозненно, у кого куда получилось. Кто-то, может, сумел затаиться.

Андрею Репникову тогда одному из немногих повезло: удалось остаться в живых, он даже не был ранен. Только очень сильно перепуган и побился о камни: всё тело и лицо были в синяках и ссадинах, одежда изорвана...

Когда полевой командир Хайрула понял, что дальше преследовать некого и незачем — кто был убит, кто затаился, — он сразу же дал своей группе команду повернуть обратно, к перевалу. В том месте, где бой завязался, чеченцы принялись наскоро осматривать местность.

Наткнулись на несколько трупов, ликуя, забрали оружие, патроны. Добили двух раненых. Говорили возбуждённо и радостно, упиваясь успехом, первой такой боевой удачей группы. Из своих никто не пострадал, не было даже легкораненых. Удачная засада, внезапность действий и беспечность русских собак, которые шли будто на базар, сделали своё дело.

И вдруг они заметили возле тропы ещё один труп с сильно окровавленной выше колена левой ногой. Ни оружия, ни патронов при нём не было. Остановились, столпились вокруг, разглядывая солдата с любопытством и удивлением. Солдатишка был такой тщедушный, что даже накатило на них единодушное недоумение от этих русских: ну как такого цыплёнка можно на войну брать?..

Алехан презрительно усмехнулся и без особого усилия перевернул солдата ногой с живота на спину. Тот застонал: живой. Смотрел жалостно, умоляюще...

Все видели глубокую большую рану: нога разорвана от колена, бедро, ягодица... Но так бывает: ненавистного дрозда, объедающего в саду ягоды, вдруг неожиданно пожалеешь, когда птица окажется в необычных уже условиях, в ловушке и покалеченная. И сжалился Алехан, снял с плеча свой автомат, чтобы пристрелить русского. Командир Хайрула, предугадав его действия, усмехнулся и сказал:

— Возьми его, Алехан. Выживет — рабом твоим будет, подвал копать станет... А может, и выкуп за него дадут богатый. Подохнет — туда собаке и дорога.

Глаза Алехана вспыхнули азартом игрока, он озабоченно воскликнул:

— Как его нести, Хайрула?

— Я помогу! — с готовностью вызвался Ахмет Умаров, друг и родственник Алехана Османова.

Они тут же срубили две палки, переплели ветвями, соорудили носилки, перекатили на них солдатику и понесли, удивляясь, какой он лёгкий. Конечно, если б до перевала было высоко и круто, а до селения далеко, они б ни за что не стали нести русского раненого солдата.

Думали, если умрёт русский по дороге — бросят его, но солдатик дожил до дома Алехана. Здесь ему настоящий врач, которого позва-

ли, обработал рану и сделал перевязку. Сказал, что ткани сильно повреждены и много крови потерял, но жизненно важных соединений и узлов пуля не задела. Через месяц встанет на ноги.

— Это я сразу понял, — сказал авторитетным тоном Алехан и заносчиво добавил: — Иначе бы зачем его таскать?..

Женькино счастье оказалось в том, что в этом бою никто из «духов» не пострадал, не было ни убитых, ни раненых, а трофеи взяли хорошие. Повезло ему и в том, что при нём не было оружия, в другом случае не миновать бы салаге Женьке мгновенной расправы. Наоборот, чеченцы сегодня оказались все в хорошем расположении духа от удачной вылазки и на приобретение Алеханом покалеченного раба смотрели благодушно, как на свою остроумную забаву.

А первый номер пулемётного расчёта ефрейтор Андрей Репников, вернувшийся в часть живым, сказал, что его второй номер убит, вот его автомат, что сам он, отходя вместе с другими, сражался до последнего патрона. Пулемёт свой уничтожил, когда патроны кончились, чтоб врагу не достался, если убьют. Патронов у него действительно не осталось. Сколько положил «духов» — сказать не может, не ведает, но косил только так. Столкнулись с очень крупным бандформированием. Ещё трое человек, оставшихся в живых из всей разведгруппы, когда вернулись, твердили то же самое — «духов» было много.

В действительности отряд чеченцев состоял из десятка партизан. Но воевать они уже умели. Придя домой, каждый из них любовно вычистил и смазал своё, кто-то ещё и трофейное оружие, надёжно спрятал его и опять превратился в обычного мирного труженика села, ожидая распоряжений своего полевого командира, ничем не выделяясь среди всех прочих жителей.

Ефрейтор Андрей Репников дослужил оставшийся срок и демобилизовался. Наград за тот бой ни он, ни его товарищи не получили, хотя и рассчитывали на них. Расследование

показало, что поплатилась разведгруппа за свою беспечность и разгильдяйство, что враг никаких потерь не понёс. Хотя самый шекотливый момент был в том, что, похоже, информация о готовящемся рейде группы как-то уплыла из штаба к чеченцам...

Уехал домой Репников, ничего не зная о судьбе Женьки Сазонова. На допросах при расследовании Репников утверждал, что рядовой Сазонов был убит, он был абсолютно уверен в его смерти. С такой раной, думалось Репникову, ни уйти, ни уползти салага не мог. Но среди убитых его тоже не нашли, и Сазонов числился без вести пропавшим. Куда он делся — осталось загадкой. Может, конечно, сбросили его чечены в пропасть.

А Женька Сазонов выжил. Конечно, на ноги он поднялся не через месяц, как Алехану обещал врач Дока, а только через два. Нога его осталась в сильном повреждении, Женька сделался инвалидом, хотя под одеждой это и не очень было заметно.

Он действительно стал рабом Алехана, больше двух лет делал в его хозяйстве разную, порой самую грязную работу за еду и жалкие обноски одежды. Относились к нему сносно, вполне терпимо, как к худому ишачишке, который хотя и небольшую работу делает, но и расходов никаких не приносит, всё для хозяйства польза. Днём он ходил по хозяйскому двору свободно. Но убежать отсюда днём было совершенно немыслимо. А на ночь его, как пакостливого козлёнка, непременно сажали в подвал, где у него имелась старая дрянная раскладушка, и запирали снаружи на замок.

Иногда к Алехану заходил в гости его родственник и большой друг Ахмет Умаров, который когда-то помог принести Женьку; они садились на скамейку в тени развесистого дерева во дворе и подолгу о чём-то беседовали. Порой посматривали на Женьку и смеялись. Самолюбивый Алехан очень гордился, что у него есть раб, а Ахмет был рад, что помог в этом своему родственнику. И посматривал на Алехана с лёгкой снисходительностью, которую, конечно, никак не демонстрировал, чтоб не вспалить в друге обиду.

Вопрос о выкупе Женьки сразу отпал, как

только Алехан узнал, что Женькины родители живут в селе и работают в колхозе. Десять с лишним лет назад Алехан два лета подряд сам ездил на Урал с бригадой на шабашки в русские колхозы, где они в первое лето построили сорокаметровый мост через реку почти с чеченским названием — Ирень, а во второе лето — коровник в деревне Сосновке того же района. Сами они тогда заработали неплохо. Но как живут местные, он видел, помнил... Собирался Алехан поехать в знакомый район и в третий раз, но дошли слухи, что коровник, который они прошедшим летом строили, почему-то частично рухнул вскоре после их отъезда. Хотя делали они всё как полагается. И бригадир их больше не рискнул туда поехать, боясь, что могут завести уголовное дело, осудить и дать срок. А теперь вот их тогдашний бригадир Хайрула стал хорошим полевым командиром. Прошёл специальную подготовку в горном лагере, у боевиков-арабов.

Этот его пленник Женька тоже оказался родом с Урала. Воистину велик мир всемогущего Аллаха и беспредельна мудрость его. Вот порешил он, что станет неверный Женька рабом Алехана, и Женька стал. Алехан так и прозвал Женьку — Неверный, и это слово стало здесь именем пленника.

А на третьем году Женьку Сазонова случайно освободили из чеченского плена. И вышло это незадолго до того, как было почти полностью уничтожено разросшееся бандформирование Хайрулы. Иначе б не видать Женьке Сазонову больше ни света белого, ни милой сердцу родины, которую оставил он три года назад, если сложить вместе службу в армии и плен. А в плену Сазонов уже вполне сносно научился говорить по-чеченски, понимал всё.

Вернулся Женька на родину, в своё село тихо, без шума. Родители, оказывается, давно похоронили сына и уже свыклись с этим. Бабушка Настя от страданий по любимому внуку умерла полтора года назад.

Женька ходил в церковь, поставил свечи перед иконами: благодарственную — за своё спасение, поминальную — за бабушку; навесит родную школу, в которой проучился один-

надцать лет, посидел за своей партой у окна, уставившись взглядом в столешницу и о чём-то долго напряжённо думая. Учительница, сопровождавшая его, даже испугалась.

В районной газете появилась заметка о Сазонове, из которой мало что можно было узнать. Рассказывать о себе Женька ничего не хотел. Отговаривался тем, что всё рассказал кому следует. Однако после освобождения из плена поведал он особистам не всё, промолчал про то, как умолял товарища спасти его, а тот бросил его, тяжелораненого.

Журналисты оставили Женьку в покое. А скоро и совсем позабыли о нём. Он же от этого нисколечко не страдал. Восстановил документы, прошёл обследование и лечение в госпитале для ветеранов, получил за ранение третью группу инвалидности, пенсию не ахти какую.

В плену ему пришлось очень тяжело — настрадался и душой, и телом искалеченным. Оттого и молился, не зная ни одной молитвы, — молился как умел, как получалось, про себя, своими словами.

Женя помнил, как молилась бабушка Настя: он наблюдал за ней. А в плену понял, что теми молитвами бабушка и держалась в своей нелёгкой жизни. Женька был теперь абсолютно уверен, что именно Бог помог и ему, Евгению Сазонову. За дни плена он узнал, что таких, как он, в плен никогда не брали. И это только подкрепляло в нём веру в чудо, что Бог помог ему выжить и вернуться на родину. Но ведь тогда выходит, что не просто так, а для чего-то... Теперь он много думал об этом.

Стыдиться ему было не за что ни перед односельчанами, ни перед другими людьми: он в плен попал с тяжёлым ранением.

Вскоре все узнали в селе, что Женька Сазонов пошёл прислуживать в церковь, начал пономарить. Верующие старушки отнеслись к этому с великой радостью, а остальные односельчане — с пониманием к инвалиду.

А потом Евгений поступил в Томскую духовную семинарию. Окончил её, был рукоположен во священники, стал отцом Евгением. Затем получил назначение от служащего архиерея, добрейшего архиепископа Евлампия, в

один из отдалённых приходов епархии, где уже больше полугода не было священника по причине, о которой верующие стыдились рассказывать: бес пьянства одолел бывшего таксиста. Не везло никак этому храму на священников. Но село Никольское оказалось большое, люди здесь жили хорошие. Приняли отца Евгения с матушкой Татьяной, женщиной смиренной и кроткой, очень душевно.

Стал он служить, принялся восстанавливать потихоньку старинный храм, в котором до передачи его верующим были сельповские склады. И через какое-то время начала по округе распространяться незаметно, как трава растёт, молва о нём, что священник он милосердный, человек духовный, отзывчивый и добросовестный, безотказный, но при этом совсем не алчный и молитвенник редкий.

Да это и не удивительно, что такая молва пошла. Службы он вёл всегда с большим благоговением и усердием. Голос у него, правда, был не силён, но высокий и чистый. А матушка Татьяна, сама из священнической семьи родом, окончившая регентские курсы в той же семинарии, где она и познакомилась с Евгением, хорошо пела. Этому искусству матушка Татьяна обучила в Никольском и нескольких пенсионеров из бывших учителей, ещё не старых, которые пожелали петь под её управлением в церковном хоре, имея хорошие голоса и тягу к духовному песнопению.

Они и помимо службы пели и, как говорится, с неизменным успехом выступали с духовными песнопениями, объединив их в особый репертуар и назвав свой хор «Духовный сад». И скоро о Никольском храме, его батюшке и хоре заговорили в окрестности, потянулись к нему люди, и приход храма стал разрастаться и наполняться.

Большой духовной радостью было послушать службу и пение в этом храме, освящённом в честь Николая Чудотворца, покровителя милосердного и очага семейного, и уз брачных, и хозяйства домашнего, и защитника скорого от всяких напастей. Строгий и заслуженный батюшка отец Василий Пересмыкин из районного села, настоятель храма Илии Пророка, начал даже обижаться на отца Евге-

ния, что он-де переманивает у него паству, часть из которой действительно не ленилась и не скупилась поехать от своего храма за двадцать километров в Никольский храм.

Когда слух о его обиде достиг ушей отца Евгения, тот сильно опечалился, долго ходил задумчивым, скорбно вздыхая, а потом произнёс громко, будто не сам себе, но обращаясь к рядом стоящему отцу Василию:

— Чего нам, отче, делить на па́житях Небесных, где в посев приёмлется только молитва наша да смирение?.. Молись знай, не ленись! Засевай своё поле. Обижаться не на что!

3

Вот однажды и пришёл к отцу Евгению в конце Великого поста наслышанный о нём рыжекудрый мужичок, чтоб исповедаться в гнетущем его душу грехе.

В этом не по годам постаревшем человеке тридцати с небольшим лет, в скромном чёрном подряснике, с крестом и епитрахилью, с бородой, с длинными и раньше срока поседевшими волосами, кающийся рыжекудрый грешник и при сильном желании не смог бы признать теперь того тшедушного, наголо остриженного мальчишку, которого он, спасая свою жизнь, как говорится, шкуру, бросил на перевале тяжелораненым, даже не перевязав, но думы о котором точили его душу все эти годы.

Выговорив священнику тяготивший душу грех, исповедующийся стоял и покорно томился ожиданием. Уши его полыхали ярче его огненных кудрей, по лицу катились мелкие бисеринки пота, сливаясь со слезами на небритых щеках. Заметно было, с каким напряжением этот человек ожидал себе приговора священника за то, что набрался наконец храбрости открыться ему.

И долгое молчание священника показалось взмокшему бедняге бесконечным и невыносимо тяжёлым, будто опустившийся ему на плечи свод храма. Он уже засомневался, стоило ли так откровенничать перед попом... Не сдаст ли он его эфэсбэшникам?

— Господь милостив, — заговорил наконец

священник дрожащим голосом, — любой грех Он простит, лишь бы мера покаяния покрывала этот грех. Молись и кайся!

На последнем слове, перейдя на шёпот, отец Евгений тяжело и протяжно вздохнул, левую руку с епитрахилью возложил на рыжую голову исповедующегося, который, чувствуя какую-то необъяснимую для него властность этой руки, пригнул послушно голову и сжался весь в пружинистый комок, словно под невыносимой тяжестью.

— Имя? — спросил коротко священник.

— Андрей, — выдохнул мужик.

— Отпускаются грехи рабу Божию Андрею.

Прочитав разрешительную молитву, священник сказал повелительно:

— Целуй крест и Евангелие!

Андрей приложился.

— Всё? — спросил он, с робостью взглянув первый раз за всё время в лицо священника.

— Всё, — подтвердил отец Евгений, качнув головой и прикрыв глаза. — Иди и больше не греш.

Андрей облегчённо охнул и просветлевший направился поскорее к выходу. Ему очень хотелось забыть и вытравить из памяти своей навсегда поступок, который столько лет жжёт его сердце, будто змея ядовитым зубом. Ни работа, ни семья, ни водка не помогли это сде-

лать. Откладывая и процеживая в разуме своём различные разговоры людей, он понял и уразумел, что церковь, батюшка, исповедь — последняя надежда его.

Глядя вослед уходящему, отец Евгений не мог, будто парализованный, сдвинуться с места, чтобы взять Евангелие и крест и унести их в алтарь. Он ещё долго стоял неподвижно возле аналая, склонив голову в глубокой задумчивости. И вдруг спохватился: ведь разьяснить хотел рабу Божию Андрею, что у православных нет обращения «святой отец». Эх!.. Эх, забыл!

□

Виталий Анатольевич БОГОМОЛОВ

родился в 1948 году.

Окончил Пермский государственный университет имени А.М. Горького.

Поэт, прозаик.

Автор 33 книг и более шестисот публикаций в периодике, коллективных сборниках.

Лауреат конкурса имени В.М. Шукшина, областной и краевой премии в сфере культуры и искусства, премии имени русского поэта А.Ф. Мерзлякова.

Кавалер общественного ордена Ф. М. Достоевского.

Член Союза писателей России.

Живёт в Перми.

В журнале «Север» публикуется впервые.

